Княжна Тараканова

Автор:
Григорий Данилевский

Княжна Тараканова

Григорий Петрович Данилевский

Исторический роман «Княжна Тараканова» – о трагической участи авантюристки XVIII века, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшей на российский престол.

Григорий Данилевский

Княжна Тараканова

Часть первая

Дневник лейтенанта Концова

Ни малейшего сумнения – она авантюрьера.

Письмо Екатерины II

I

Май 1775 – Атлантический океан, фрегат «Северный Орел».

…Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный Орел» за Гибралтаром. Он без руля, с частью оборванных парусов, уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся, что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из виденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи.

Боже-вседержитель! Дай памяти, умудри, облегчи болящую, истерзанную сомнениями душу…

Я – моряк, Павел Евстафьевич Концов, офицер флота ее величества, всероссийской императрицы Екатерины Второй, пять лет тому назад, божьим изволением, удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме.

Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильин и Клокачев, с четырьмя брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению.

И мне, смиренному, удалось в то время – прикрывая брандеры – в темноте, с корабля «Януария» лично бросить во врага первый каленый брандскугель. От брандскугеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных шестидесяти– и девяностопушечных вражьих кораблей, фрегатов, гальотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в оде на чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, незнаемому светом, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки:

Вручает слава ветвь, вручает ветвь лаврову

Кидающему смерть в турецкий флот Концову.

Оные стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Макензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу

чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генеральс-адъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, к графу Алексею Григорьевичу Орлову.

На службе мне везло, жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей.

Судьба отвернулась от меня, статься может, за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины.

Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду – французами, венецианами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый, нежданный и тяжкий искус.

Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв, живя в удовольствии на покое, при флоте, говаривал:

– Я так счастлив, так, как будто взят, аки Енох, живой на небо.

Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко, с тех пор как некогда пособил Екатерине взойти на престол.

Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году.

Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес что надо на берег и переговорил. А на обратном пути, в море, нас приметила и по-мчалась за нами сторожевая турецкая кочерма.

Мы долго отстреливались. Наших матросов убили: я, тяжело раненный в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул.

Во мне, хотя переодетом в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. «Ну, как дознаются, – думал я, – что их пленник тот самый лейтенант Концов, от брандскугеля которого зажегся и взлетел на воздух под Чесмой их главный

адмиральский корабль? что станется тогда со мной?»

II

Я пробыл в плену около двух лет. Настал 1775 год.

Вначале меня держали взаперти, в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного з?амка, потом в цепях, при одной из трехсот стамбульских мечетей. Дошел ли туда, на самом деле, слух, что в числе пленных у них находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу.

Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере; хвалил мусульманские обычаи, нравы, превозносил могущество и славу падишаха. Возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил, мулла исхлопотал мне лучшее помещение и продовольствие.

Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял, начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета, не пил, но усердно соблазнял меня и манил:

– Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут, смотри, сколько кораблей; поступишь на службу, будешь у нас капитаном-пашой…

Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого, рокового раздумья!

Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую Концовку. Я сиротой, в офицерском чине, прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власьевной и тоже Концовой. У бабушки, поблизости города Батурина, были богатые соседи по деревне, Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклиевич и его дочка Ирина Львовна.

То да се, езда в ракитинскую церковь, потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки, ну – молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы! Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето. Дорогие, памятные дни! Одно из моих писем к Ирен, по несчастной случайности, попалось в руки ее отца. Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и суров, уговорил ли ее отказаться от меня, променяв преданного и верного ей человека на иного… только горько, тяжело о том и вспомнить.

Была осень и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейный лакей подал бабушке, привезенный им от Ракитиных, запечатанный пакет. Сердце мое так и екнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ.

«Простите, мол, матушка Аграфена Власьевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин, всем хорош и пригож, – писал бригадир Ракитин, – но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями и желаем вашему крестнику и внуку найти сто крат лучшую и достойнее его».

Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу – пресеклось дорогое, чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники Разумовских, Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее их дворянина. Спесь и знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы, взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во фрейлины, в высший свет.

– Бог с ними! – твердил я как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки.

День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с ракитинскою усадьбою, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях. Поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения! Помню, мне казалось – стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне, мы уйдем на край света. Безумец, я надеялся ее видеть, с нею обменяться мыслями, наболевшим горем.

– Брось отца, брось его, – шептал я, вглядываясь в окна. – Он не жалеет, не любит тебя.

Но тщетно: окна были темны и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой горенки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма, не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе какой вести. Посылал ей тайно и письмо – ответа не было. В одну ночь я даже решил убить себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет.

«Нет, – решил я тогда, – зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю, может быть, и впрямь нашелся счастливый соперник».

После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Оку, где некоторое время ее держал под строгим присмотром.

III

Бабушку не менее меня сразило мое положение. Она, спустя неделю, призвала меня и объявила:

– Твой риваль[1 - Риваль (от фр. rivall) – соперник.] тобою угадан; это дальний родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала стороной, Павлинька, его нарочито выписали, он у них гостил во время твоих исканий и помог им уехать без следа. Забудь, мон анж[2 - Мой ангел (франц.).], Ирену: она, очевидно, в батюшку – гордячка; утешишься, даст бог, с другою!

Я сам был обидчив и горяч. «Бабушка права, – мыслил я, решаясь все бросить и забыть. – Если бы Ирен была с сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку».

Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирен и ей не отданный, гимн из «Ифигении», новой и тогда еще не игранной оперы Глюка. Я со слезами сжег его.

После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся.

Аграфена Власьевна в тот же год, без меня, простудилась, говея в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле.

Покинув Концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ в семейство графов Орловых, потом в Петербурге, все допытываясь о родичах Ракитина, живших за Окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Ирен, – никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился; я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать, предпринять?

Вести с юга, из-за моря, между тем, наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегию морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию к графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя, некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в Специи, под Наварином и Чесмой.

– Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что? – твердил я. – Боже! когда бы скорей конец жизни!

Но смерть не приходила; вместо того, я был схвачен и, после славной Чесмы, попал в долговременный плен в Стамбул.

Навещавший меня мулла становился все ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его, для компании, отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной – и сам для этого пил; мой учитель, делать нечего, в угоду мне, стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, о России и иных делах.

Однажды – это было еще в половине лета 1774 года, в то время, когда муэззин с вышки звал к вечерней молитве народ, – мой наставник таинственно и не без злорадства спросил меня, знаю ли я, что в Италии проявилась нежданная и опасная соперница царствующей нашей императрице Екатерине, могучая претендентка на российский престол?

Я был удивлен и некоторое время молчал. Мулла повторил сказанное. На мой вопрос, кто эта претендентка, он ответил:

– Тайная дочь покойной императрицы Елисаветы Петровны.

– Это вздор, – вскричал я, – бессмысленная сплетня ваших базаров!

Мулла обиделся, его глаза сверкали.

– Не сплетни, читай! – сказал он, вынув из-под халата истертый листок утрехтской газеты. – Лучше подумай, что ждет твою родину?

Сердце мое, преданное великой, правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что мулла был прав: сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции действительно объявилась некая,

называвшая себя «всероссийской княжной Елисаветой». Претендентка, по слухам, собиралась в ту пору к султану, искать защиты своих прав в его армии, воевавшей с нами на Дунае. Мулла посидел и вышел, поглядывая на меня.

Узнанные вести сильно опечалили меня.

«Как? – рассуждал я. – Судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачева, о котором я слышал в плену, туркам являлась еще и эта помощь! Тот разорил, сжег и обездолил Поволжье, эта собирается пустить огонь и смуту с юга!»

Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по тюрьме, я стал у окна, схватился за его решетку и, потрясая ее, готов был грызть железо.

– Крылья мне, крылья! – молил я бога. – Улететь бы к родному флоту, предупредить верного государыне графа Орлова, все ему передать…

И совершилось по моей мольбе в те дни чудо. Не забыть мне вовек испытанного.

Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить как-нибудь ключ, чтобы отомкнуть тяжелые цепи. Обточив о дно глиняного кувшина вырванный из стены полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилил о камень задуманный ключ. Радость моя, когда в первую же ночь я отомкнул, снял цепи и заснул без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было: освободившись быстро от цепей, убить ими ренегата-муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений.

Господь, правящий сердцами, избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне, по-прежнему попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно, по его же ходатайству. Время наступило. Выбрав вечер, я решился сказать мулле, что внял его мудрым наставлениям и что готов перейти в ислам. Он пришел в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хиосским, что совсем охмелел и начал дремать.

Я не переставал его потчевать.

– Нет, – повторял он, – не могу, не пропустить бы молитвы; заметят, донесут…

Я ему еще налил. Он, лукаво щурясь и грозя, опорожнил еще кружку, скоро зашатался, прилег и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать, не слышит, снял с него туфли, расписанный халат и чалму, оделся в них – он лежал как убитый.

Мы были с ним почти одного роста; борода в заточении у меня отросла большая, как и у него, была только светлее.

«Боже! Неужели? – думал я в радостном содрогании. – Неужели свобода?»

Надвинув на глаза огромную белую чалму и набожно склонясь, я тихо, с четками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы, сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечети, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили.

Шум улицы меня смутил, я было растерялся, но оправился. Не спеша добрел я до берега, махнул перевозчику, сел в первую подплывшую шлюпку и, еще более склонясь, молча указал на один из близстоявших, давно мною из окна намеченных, иностранных кораблей.

То была готовая к отплытию одна из торговых французских шкун. Я узнал ее по флагу.

IV

Бравый, смуглый красавец француз, командир шкуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, к коей он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил:

– Не Концов ли вы?

– Почему вы так думаете? – спросил я в тревоге.

– О, я бы желал, – ответил он, – чтобы это было так. Храброго Концова мы все жалели и справлялись о нем… Я был бы счастлив, если бы мог ему служить.

Делать нечего, я решился назвать себя. Капитан очень обрадовался. Он свел меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой и дал знак готовиться к поднятию якоря и парусов. Ночью шкуна двинулась. Ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика спустили обратно где-то на пути.

Мулла, очевидно, долго спал. Погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок – платье муллы, в котором я бежал, поневоле должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль.

От капитана шкуны я, между прочим, по пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции, а у турецких берегов, в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть. Я просил высадить меня там. Французы отговаривали меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок; я настаивал на своем.

Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данной мне ссуде, я с трепетом ступил на берег Рагузской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе.

Таинственная княжна уже владела умами всего города. Толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ ее многочисленной свиты. Эти господа сперва меня дичились, смотрели недоверчиво; но, узнав, кто я, и предуведомленные, что, радуясь своему спасению, я немедленно направлюсь к эскадре графа Орлова, они охотно и без стеснений стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у нее аудиенцию.

– Но кто же она и где до сих пор проживала? – спросил я свитских княжны.

– Она родная дочь вашей покойной императрицы Елисаветы от ее тайного брака с графом Разумовским, – отвечали мне, – в детстве была увезена к границам Персии, потом под чужими именами проживала в Киле, Берлине, Лондоне и в

других городах. В Париже именовалась принцессой Азовской, dame d’Azow, в Германии и здесь, в Рагузе, именуется принцессой Пиннеберг. Сообразите, ведь это ваша царица Елисавета Вторая – кровь великого Петра… Немецкие и иные принцы сватались за нее; французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всякую поддержку.

Смутили меня эти вести.

«Киль, Берлин! – думал я. – Киль – в Голштинии; он играл такую роль в судьбе дочерей великого Петра: бывшей там замужем Анны и Елисаветы, выписавшей себе оттуда наследника, Петра Третьего. Неужели в Петербурге этому не придают значения? и что у нас предпримут, если дознаются о такой претендентке?»

Поляки меня повели к графине Пиннеберг.

Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудрился, припомадился, завился. Меня радушно встретили в доме графини. Ее гофмаршал, барон Корф, ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Я оглянулся: простор-ная комната была обита голубым штофом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я опомниться, раздались шаги и веселый сдержанный говор.

В приемную вошла княжна Елисавета, окруженная нарядною свитой. После я узнал, что это были: знаменитый в то время ее близкий друг князь Радзивилл, прозванием «пане-коханку», в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами, рядом с ним – его сестра, красавица графиня Моравская, и княгиня Сангушко; за ними – в пунцовом с золотом кунтуше граф Потоцкий – глава сплотившейся против нас польской конфедерации; поодаль – надменный и богатый староста Пинский, граф Пржездецкий, возле него – влиятельный из молодежи-конфедератов, рубака и дуэлист Чарномский и несколько известных радзивилловских офицеров. Потоцкий и Пржездецкий были в лентах и звездах.

Княжна, как я приметил, была одета в тафтяном палевом с золотом платье, род амазонки, с флеровой поверх нее выкладкой, в белой круглой шляпе, с черными страусовыми перьями, в розовой мантилье, отделанной по краям блондами, с крошечными, в дорогой оправе, пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом.

Польские гордые магнаты говорили княжне «ваше высочество», а когда она садилась, перед ней стояли и на ее вопросы отвечали, так низко пригибаясь, будто становились на колени.

Не скрою, меня поразил вид княжны. Я увидел перед собою в полном смысле обворожительную красавицу – лет двадцати трех-четырех, роста выше среднего, статную, из себя стройную, сухощавую, с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у нее были карие, открытые и большие, а один слегка, чуть заметно, косил, что придавало ее оживленному лицу особое, лукавое выражение. Но что главное, я в детстве и в возрасте хорошо насмотрелся на портреты покойной императрицы Елисаветы Петровны и, взглянув теперь на княжну, нашел, что она с покойницей значительно схожа.

Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по-французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке и, кончив церемонный, по этикету, прием, взглядом отпустила свою свиту, а мне указала стул. Мы остались наедине.

V

После некоторого обмена мыслей – мы говорили по-французски, причем у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания – оба мы в понятном смущении замолчали.

– Вы русский офицер, моряк? – спросила меня княжна.

– Так точно, ваша… ваша светлость, – ответил я, не зная, как был должен ее именовать.

– Мне известно, вы отличились, ваше имя прогремело при Чесме, – продолжала она. – Вы, наконец, так долго страдали в плену.

Я, смешавшись, молчал, она тоже.

– Послушайте, – проговорила она с чувством, и до сих пор я слышу этот нежный, обаятельный, грудной голос, – я русская княжна, дочь вашей, когда-то любимой императрицы: не правда ли, мою мать, дочь великого Петра, так любили? Я, по крови и по завещанию, ее единственная наследница.

– Но у нас ныне царствует, – решился я возразить, – не менее всеми любимая монархиня – великая Екатерина.

– Знаю, знаю! – перебила княжна. – Могуча и чтима народом ваша нынешняя государыня, и не мне, слабой, всеми брошенной, оторванной от царского дома и от родины, вступать с нею в спор. Я первая преданная ей раба.

– Чего же вы ищете, ждете? – спросил я удивленно.

– Защиты и уважения моих прав.

– Простите, – возразил я, – но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права.

– Вам доказательств? Вот они, – произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой, обделанный серебром и черепахой баул. – Это завещание моего деда Петра Первого, а это духовная моей матери – Елисаветы.

Княжна развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел.

– Но это копии, притом в переводе, – сказал я.

– О, будьте спокойны, подлинники в верных руках… Не могу же я возить с собою такие документы, рисковать! Мало вам этого – взгляните, – проговорила, полуоборотясь, принцесса.

Она указала на простенок над софой. На голубом штофе обоев, против окна, у которого мы стояли, висели два больших, в круглых рамах, портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государыню Елисавету Петровну с небольшою короною на голове; другой – стоявшую против меня княжну.

– Не правда ли, схожи? – спросила она, вглядываясь в меня.

– Сходство есть, это правда, – ответил я. – Я это заметил, едва вошел и вас увидел; позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет?

– В этом году, в Венеции… Знаменитый Пьячетти снимал портрет моего жениха – князя Радзивилла, при этом упросили сняться и меня.

– Дивные события! – произнес я в невольном смущении. – Является невообразимое, встают из гроба мертвецы: за Волгой – давно въяве похороненный император Петр Третий, здесь – никем не жданная и не гаданная дочь государыни Елисаветы.

– Не смешивайте меня с Пугачевым, – возразила, слегка покраснев, княжна, – хотя он и выдает себя за императора, чеканя монеты с надписью: «Redivivus et ultor» – воскресший мститель, – но он пока… лишь мой в том крае наместник.

– Как? – удивился я. – Так и вы подтверждаете, что он самозванец?

– Не спрашивайте, кто он, – загадочно ответила княжна, – после узнаете обо всем… еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города: Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге. Его прошлого не знаю. Бог ему судия… Но я действительно дочь императрицы Елисаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра Третьего.

– Кто же ваш отец? – решился я спросить.

Княжна помолчала, нахмурилась.

– Неужели не знаете? Граф Алексей Разумовский, впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах; оно темно и для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для того денег и возили меня с места на место, из страны в страну. Это, очевидно, знает граф Шувалов… Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись.

– Как! Вы видели графа Шувалова? Где? – изумился я, вспомнив, что некоторые, по слухам, и его считали ее отцом.

– Это было на водах в Спа… Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике; я не могла отказать. Вошел в комнату полный, еще замечательно красивый, богато, со вкусом одетый пожилой человек. Он явился под вымышленным именем; говоря со мной, грустно вглядывался в черты моего лица, в мои движения и был, очевидно, внутренне взволнован. После уже я узнала, что это бывший фаворит покойной моей матери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущен – не знаю. Не мне, согласитесь, это решать. Смерть матери унесла в могилу эту, как и другие, тайну.

Княжна смолкла. Молчал и я.

– Чьей же защиты, чьей помощи ищете вы? – решился я спросить, подавляемый разнообразными ощущениями.

VI

Княжна спрятала бумаги в шкатулку, заперла ее, поставила на место, взяла веер и снова села, поглядывая в окно.

– Готовы ли вы мне пособить? – спросила она решительно в ответ на мой вопрос.

Я не нашелся что ответить.

– Готовы ли вы оказать мне, в случае надобности, вашу поддержку?

– Какую?

– Вот видите ли… Если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной, – произнесла медленно и с уверенностью княжна, – я готова сделать для нее все… Отдам ей Север, с Петербургом, балтийскими провинциями и со всею московской областью; себе возьму Кавказ, вообще юг… я люблю юг… и часть востока. О, верьте, я буду свято чтить мирный раздел, буду

всем довольна; населю и устрою мои родовые страны – увидите… я мастерица… И, разумеется, прежде всего восстановлю Украйну и Польшу… Ведь вы украинец? Не правда ли? – спросила она, заглядывая мне в глаза. – И я жила в детстве на Украине… Если же Екатерина заспорит, – проговорила она, сдвинув брови, – мне остается добывать мои права силой. Я собираюсь в Стамбул, к султану; он ждет меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами, у Дуная, перед армией Екатерины. И я ей отплачу – при этом многие мне помогут, в том числе все недовольные… например, командир эскадры – Орлов… Что скажете о нем?

– Орлов? – спросил я с нескрываемым изумлением.

– Да, он! Удивляетесь? – помахивая веером и смело глядя на меня, ответила княжна. – Как об этом вы думаете?

– Не могу, ваша светлость, не высказать крайнего сомнения, – ответил я, – ведь это детские грезы. На чем вы основываете возможность со стороны графа такой, извините, измены?

– Измены? – вскричала, вспыхнув, княжна. – Впрочем, вам простительно… вы были в плену, многого не знаете.

Она самодовольно улыбнулась, судорожно обмахиваясь веером.

– Власть и значение Орловых пали, – продолжала она, – входят в силу их тайные непримиримые враги – Панины… Любимец императрицы, Григорий Орлов, да будет вам известно, заменен другим; он в огорчении прервал переговоры с султаном, которого почти победил, и ускакал с Дуная в Петербург. Но его не допустили ко двору и сослали в Ревель. Удивляетесь? Знайте более… Ваш начальник, граф Алексей Орлов, обиженный за брата, не скрывает своих чувств, готов отомстить и, без сомнения, может быть мне очень полезен. Видите ли, какие новости. Я уже послала графу Алексею письмо и небольшой манифест.

– Манифест? О чем?

– Если Орлов решит стать на мою сторону, я предлагаю ему объявить эскадре мой манифест, принять меня и провозгласить мои права.

– Но это невозможно, простите, – пытался я возразить, – ваш поступок смел, но необдуман…

– Почему? – удивленно спросила княжна. – Недовольные ищут возмездия; забытые, брошенные – отплаты. Это общая участь. А что обиднее пренебрежения прежних, всеми признанных заслуг?.. Ведь Орловым, кто же этого не знает, Екатерина обязана троном.

Княжна встала, прошлась по комнате и распахнула окно. Ей было душно. Она вновь и с подробностями заговорила о надежде вступить при помощи флота в Россию и не слушала моих возражений. Ничто, казалось, не могло ее разубедить.

Мне стало ясно, что эта избалованная, своенравная и подобная раскаленной лаве под пеплом женщина могла своею смелостью померяться с любым из отчаянных мужчин.

– Вы сомневаетесь, удивлены? – нервно вздрагивая, вскрикнула она. – Спрашиваете, почему я так верю в успех своего дела? Неужели не знаете?.. Мне уже сочувствуют многие ваши соотечественники, с некоторыми я уже давно переписываюсь… Но вы – первый русский, таких достоинств человек, которого я вижу в настоящей моей доле… Я этого не забуду, этим дорожу… Верьте, я выйду из ничтожества, тьма рассеется… Разве вам неизвестно, что Россия истомлена войнами, рекрутскими наборами, пожарами, чумой? Вам ли не знать, что народ разоряют непомерными налогами, что за Волгой еще свирепствует ужасный, кровавый бунт? Ваше войско дурно одето и еще хуже кормится… Все недовольны, ропщут… Ужели вам, лейтенанту русского флота, это новость? Да, народ обрадуется мне, а войско встретит прирожденную русскую княжну Елисавету Вторую с торжеством, как когда-то встретили Екатерину.

Меня возмущало это ребяческое, слепое легкомыслие.

– Пусть так, но говорите ли вы по-русски? – решился я спросить.

Княжна смутилась.

– Не говорю, поневоле забыла, – ответила она, закашлявшись, – в детстве, трех лет, меня увезли из Малороссии в Сибирь, где чуть не отравили, оттуда в Персию; я жила у одной старушки в Испагани и с нею уехала в Багдад, где по-

французски меня учил некто Фурьньё… Где тут было помнить родной язык?

Я сидел с потупленными глазами.

– И разве Дмитрий-царевич, признанный всею Москвою, говорил по-русски? – надменно спросила меня принцесса. – Да и что может доказать язык? Дети так легко изучают и забывают всякую речь.

– Дмитрий говорил с малорусским акцентом, – ответил я, – но зато ведь он и был… самозванец.

– Cran Dio![3 - Великий боже! (итал.)] – вскричала и, с новым кашлем, рассмеялась принцесса. – И вам не стыдно повторять эту сказку? Слушайте и помните мои слова…

Принцесса откинулась на спинку кресла. Багровые пятна выступили на ее щеках.

– Дмитрий был настоящий царевич, – проговорила она с убеждением, – да, настоящий царевич, спасенный от убийц Годунова хитростью близких, чудом, как и я спаслась от яда, данного мне в Сибири. Вы этого не знали? Подумайте получше. О, синьор Концов, говорите ваши сказки другим, а не мне, знакомой и на чужбине с летописями моего дома. За меня сватался персидский шах, но я отказала, он вечный враг России… Меня признают – слышите ли? Должны признать! – заключила торжественно княжна, похлопывая по колену веером и снова порывисто закашливаясь. – Я верю в свою звезду и потому вас смело избираю своим послом к графу Орлову. Не требую тотчас ответа: подумайте, взвесьте мои слова и скажите ваше решение. Вы, повторяю, первый русский в почтенном военном звании, встреченный мной на чужбине! Вы также страдали, также чудом спаслись от плена. Может быть, для того вас, как и других, сберегла и послала мне судьба.

Сказав это, княжна встала и величественным поклоном показала мне, что аудиенция кончена.

VII

«Что это? Кто она? Самозванка или впрямь русская великая княжна?» – рассуждал я, в неописанном смущении оставив комнату принцессы и смело проходя среди почтительно и важно кланявшихся мне особ ее свиты.

У крыльца я приметил нескольких оседланных, убранных в бархат и перья верховых лошадей. Войдя же в гостиницу, я услышал конский топот, взглянул в окно и увидел княжну, лихо скакавшую, в кругу близких, на белом, красивом коне. Кавалькада пронеслась на прогулку в окрестности Рагузы.

Несколько дней меня не оставляли самые тревожные мысли. Я почти не покидал комнаты, ходил из угла в угол, лежал, писал письма, опять их разрывал и думал: «Как мне, ввиду моей присяги и долга службы, поступить с предложением загадочной княжны?»

Однажды ко мне зашел ее секретарь Чарномский. Это был молодцеватый и изысканно разряженный, лет сорока, человек, некогда богач, дуэлист и волокита, промотавший состояние на карты и дела конфедерации. Он сохранил светские манеры, был надменен и вкрадчив и, по слухам, служил княжне, будучи в нее втайне влюблен. В разговоре о ней он пустился в похвалы ее великодушию и отваге, клятвенно подтверждая сведения о ее прошлом, и возобновил просьбу – помочь ее делу.

– Да чья же она дочь? Кто ее отец? – спросил я довольно резко. – Вы говорите столько в ее пользу; но нужны доказательства; ведь это все так сомнительно…

Чарномский вспыхнул и несколько мгновений молчал. Мне показалось в то время, что этот завитой и распомаженный, по моде – в женских брильянтовых сережках, ганимед княжны, был нарумянен.

– Какие сомнения, боже! Да ее отец, помилуйте, разве сомневаетесь? граф Алексей Разумовский! – произнес, овладев собою, тонкий дипломат. – Извольте, пане лейтенант, я вам подробно все сообщу. Видите ли, у императрицы Елисаветы, от тайного брака с графом, было несколько детей.

– Все это басни, этого никто не знает в точности, – ответил я.

– Разумеется, дело щекотливое и держалось в большой тайне, – продолжал Чарномский, – вы правы; где всем это знать? Но я говорю из верного источника. Куда делись прочие дети и кто из них жив – неизвестно… Княжна же Елисавета, ребенком двух лет, была увезена к родным Разумовского, казакам Дараганам, в их украинское поместье Дарагановку, которую народ, земляки новых богачей, окрестил по-своему в Таракановку. Царица-мать, а за ней приближенные, слыша такое имя, в шутку прозвали девочку Тьмутараканской княжной… Ее сперва не теряли из виду, осведомлялись о ней, снабжали чем нужно, а потом, особенно с ее переездами, ее потеряли из виду и наконец о ней забыли.

Слово «Таракановка» заставило меня невольно вздрогнуть. В моих мыслях мелькнуло нечто знакомое, мое собственное далекое детство, родной хутор Концовка и покойная бабушка Аграфена Власьевна, знавшая многое о былом и нынешнем дворе, о чудном случае с лемешевским пастухом, нежданно ставшим из певчего Алешки Розума – графом и тайным, обвенчанным мужем государыни, о восшествии на престол новой царицы, о покушении Мировича и о прочем. Через него и мой дед, Ираклий Концов, сосед Разумовских по селу Лемешам, был снискан милостями, отмечен по службе и умер в чинах.

Вспомнил я при этом и еще одно смутное обстоятельство. Мы ехали как-то с бабушкой, это было в моем отрочестве, на именины к родным. Путь лежал в деревушку за Батуриным, резиденцией гетмана Кириллы Разумовского. Был тихий летний вечер. Мы разговаривали. Из открытой коляски, в стороне от дороги, в сумерках, виднелись огромные вербы, несколько разбросанных между ними белых хат и ветряных мельниц, а над вербами и хатами – верхушка церкви. Бабушка перекрестилась, задумалась и тихо, как бы про себя, вдруг произнесла тогда:

– Тараканчик.

– Что вы сказали, бабушка? – спросил я.

– Тараканчик…

– Что это?

– А вот что, мон анж Павлинька! – ответила она. – Здесь когда-то, в этом вот селе, обреталась одна секретная особа, премиленькое, полненькое и белое, как

булочка, дитя; только недолго пожило оно и куда делось – неведомо.

– Кто же она? – спросил я.

– Красная шапочка, – вполголоса ответила бабушка. – Видно, и ее, тьмутараканскую княжну, как в сказке, съели злые, бессердечные волки.

Больше Аграфена Власьевна не говорила и я ее не расспрашивал, считая, что и впрямь девочку съели волки.

Теперь мне ясно вспомнилась и эта зеленая, в вербах, Таракановка, и бабушкин мимолетный рассказ. Век был чудесный, и всяким дивам в нем можно было верить.

– Что же, решаетесь, пане? – спросил меня Чарномский, видя, что я задумался и молчу.

– Объясните, – ответил я, – какой именно услуги желает княжна от меня?

– Одного, пане лейтенант, одного, – проговорил, вставая и низко кланяясь, вкрадчивый посол. – Отвезите графу Орлову письмо ее высочества, – в этом только и просьба… И скажите графу, как и где вы видели всероссийскую княжну Елисавету и с каким нетерпением она ждет от него извещения на первое свое письмо и манифест. От исхода вашей услуги будут зависеть ее дальнейшие действия, поездка к султану и прочее.

Чарномский вынул и подал мне пакет.

– Только в этом и просьба! – повторил он с новым поклоном, заискивающе взглядывая на меня большими, серыми, умоляющими глазами.

Обсудив дело, я понял, что отказываться не следует, и принял письмо. Долг службы требовал все довести до сведения графа, а как он решит, это уже его дело.

– Извольте, – сказал я, – не знаю, кто ваша княжна, но ее письмо я в исправности передам графу.

Подождав попутного корабля, я еще раз представился княжне, простился с нею и оставил Рагузу в день замечательного, пышно-сказочного праздника, данного княжне князем Радзивиллом.

Об этом празднике долго потом говорили газеты всей Европы. Сумасбродный и расточительный князь, влюбленный в княжну, давно на нее сорил деньгами, как индийский набоб. Здесь он превзошел себя. Долго пировали. Драгоценные вина лились. Гремела музыка, стреляли в саду пушки, и был сожжен фейерверк в тысячу ракет. А в конце волшебного, с маскарадом и танцами, пира пане-коханку вдруг объявил, что танцы должны длиться до утра и что с зарей все пирующие, для прохлады, увидят настоящую зиму и будут развезены по домам не в колясках, а на санях…

Гости утром вышли на крыльцо; все ближние улицы действительно были белы, как зимой. Их густо усыпали наподобие снега солью; и веселая, шумная гурьба масок среди новых пушечных залпов и криков проснувшихся горожан была под музыку действительно развезена по домам на санях.

Я уехал, ломая голову над вопросом, действительно ли княжна – дочь покойной императрицы Елисаветы и верит ли она сама тому, что говорит, или разглашает вымышленную сказку? Сколько я помнил выражение ее лица, в нем, особенно в глазах, мелькали какие-то черточки, что-то неуловимое, как бы некое, чуть приметное колебание и в то же время что-то похожее на надежду. Везя сведения о ней и ее письмо, я действовал во имя долга офицера, подкупленный и некоторою жалостью к ней как к женщине.

VIII

Корабль высадил меня в Анконе. Отсюда я поспешил в Болонью, где, по слухам, в то время находилась штаб-квартира командующего эскадрой.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, хотя и победитель при Чесме, в душе недолюбливал моря и, сдав ближайшее заведование флотом старшему флагману, контр-адмиралу Самуилу Грейгу, большую часть времени проживал на суше. К подчиненным он был отменно ласков и добр, любил простые шутки и,

окруженный царскою пышностью, был ко всем внимателен и доступен.

Мне была памятна жизнь графа в Москве до последней кампании в греческие воды, прославившей его имя. Орловы были не чужды моей семье. Покойный мой отец был их сослуживцем в оны годы, и я, проездом из морских классов на родину, не раз навещал их московский дом. Граф Алексей Григорьевич был в особенности любимцем Белокаменной. Исполинская, пышущая здоровьем фигура графа Алех?ана, как его звали в Москве, его красивые греческие глаза, веселый беспечный нрав и огромное богатство привлекли в его гостеприимные хоромы все знатное и незнатное Москвы.

Дом графа Алексея Григорьевича, как теперь помню, находился за Московской заставой, у Крымского брода, невдали от его подмосковного села Нескучного.

Москвичи в доме графа любовались гобеленевскими обоями, на диво фигурчатыми изразцовыми печами с золочеными ножками, собранием древнего оружия и картин. Его городской сад был украшен прудами, бассейнами, беседками, каскадами, зверинцем и птичником. А у графских ворот, в окне сторожевого домика, висела клетка с говорящим попугаем, который выкрикивал перед уличными зеваками:

– Матушке царице виват!

На баснословных пирах графа Алексея Григорьевича за столом, под дорогими лимонными и померанцевыми деревьями его теплиц, по слухам, нередко садилось по триста и более особ.

Русак в душе, граф любил угощать гостей кулачными боями, песенниками, борцами, причем и сам мерялся силой. Он гнул подковы, завивал узлами кочергу, валил за рога быка и потешал Москву особыми шутками.

Так однажды, в осмеяние возникшей страсти щеголей к лорнетам и очкам, он послал на гулянье первого мая в Сокольники одного из своих приживальцев… Одетый наездником, последний, среди гуляющих юных модников, стал водить чалого хромого мерина, на глазах которого были огромные, оправленные жестью очки, с крупною надписью на переносице: «А ведь только трех лет».

Но более всего граф привлекал к себе внимание на диво составленною псовою охотою и своими рысаками. Ни одна лошадь в Москве не могла сравниться с скакунами графа, смесью арабской крови с английскою и фрисландскою.

На конском бегу, перед домом у Крымского брода, граф Алехан зимой, как теперь его вижу, на крохотных саночках, а летом на дрожках-бегунцах собственноручно проезжал свою знаменитую белую, без отметин Сметанку или ее соперницу, серую в яблоках, Амазонку. Народ гурьбой бежал за графом, когда он, подбирая вожжи, в романовском тулупчике или в штофном халате, появлялся в воротах на храпящей белогривой красавице, покрикивая трем Семенам, главным своим наездникам: Сеньке Белому – оправить опененную уздечку, Сеньке Черному – подтянуть подпругу, а Сеньке Дрезденскому – смочить кваском конскую гриву.

Граф был игрив и на письме.

Все знают его письмо о славной чесменской победе к его брату Григорию:

«Государь братец, здравствуй! За неприятелем мы пошли, к нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов».

Это письмо ходило у нас в копиях по рукам.

Прирожденному гуляке, кулачному бойцу и весельчаку, графу в прежние годы, до войны, никогда и во сне не снилось быть моряком. Он даже к командованию флотом в Италии явился по сухому пути. Говорили о нем много при восшествии государыни на престол. После Чесмы заговорили еще более. Для многих он был загадкой.

На смотры и свои парадные, по-придворному, приемы Алексей Григорьевич являлся с пышностью, в золоте, алмазах и орденах. Между тем, на гулянья, как в Париже, выезжал вдруг среди чопорной, гонявшейся за ним знати не только без пудры и в круглой мещанской шляпе, но даже в простом кафтане, из серого и нарочито грубого сукна. Я, как и другие, мало угадывал внутренние побуждения графа и часто от его слов недоумевал. Претонкий, великого ума был человек.

Я горел нетерпением снова после столь долгой разлуки увидеть графа, хотя данное мне поручение княжны сильно меня смущало. Перед выездом из Рагузы я письменно предупредил графа о своем избавлении от турок и сообщил, что везу ему вести о некоей важной, случайно открытой и виденной мною особе. Долго длилось мое странствие по Италии; в горах я простудился и некоторое время пролежал хворый у одного сердобольного магната.

Наконец я добрался до Болоньи.

Не без трепета, отдохнув с дороги и переодевшись, я приблизился к роскошному графскому палаццо в Болонье, узнал, что граф дома, и велел о себе доложить. За долгую неволю в плену можно было ожидать доброго привета и награды, но я был в сомнении, как встретит меня граф за свидание и переговоры, без разрешения начальства, с опасною претенденткою.

Могли, разумеется, взглянуть на это так и сяк. И если бы меня по совести спросили, как я гляжу на эту особу, я в то время усомнился бы дать искренний ответ. Доходили до меня в Рагузе кое-какие сомнительные вести о ее прошлом, о каких-то связях. Но что было за дело до ее прошлого и мало ли в какие связи она могла вдаваться, ища выхода из своей тяжкой судьбы! Да еще и были ли эти связи?

У графа меня тотчас приняли, повели рядом красиво разубранных гостиных и зал, сперва в нижнем, потом в верхнем ярусе дома.

Тридцативосьмилетний красавец-богатырь, граф Алексей Григорьевич не только дома, но и в то время на чужбине любил проводить время с голубями, до которых был страстный охотник. При моем появлении он находился на вышке своих хором, куда запросто велел лакею ввести и меня.

И что же я увидел? Этот прославленный, умный, необычайной силы и огромного роста человек, в присутствии коего все прочие люди казались быть малыми пигмеями, сидел на каком-то стульчике, у раскрытого и пыльного чердачного окошка. Пребывая здесь, от дневной духоты, в одной сорочке, он попивал из кружки со льдом какое-то прохладительное и забавлялся, помахивая платком на стаю кружившихся по двору и над крышами голубей.

– А, Кончик! Здравствуй! – сказал он, на миг обернувшись. – Что? избавился? поздравляю, братец, садись… А видишь, вон та пара, каковы?.. Эк, бестии, завились… турманом, турманом!..

Он опять махнул платком, а я, не видя, где мне сесть, стал с любопытством разглядывать его. Граф за эти годы на покое еще более пополнел. Шея была чисто воловья, плечи, как у Юпитера или бога Бахуса, а лицо так и веяло здоровьем и удальством.

– Что смотришь? – улыбнулся он, опять оглянувшись. – Голубями, видишь, тешимся, пока ты терпел у турок; здесь все глинистые да чернокромые; трубистых, как у нас, мало и не простые, брат… Да, за сто верст письма носят… диво, вот бы у нас развести… Ну, рассказывай о плене и о твоих странствиях…

Я начал.

Граф слушал сперва рассеянно, все посматривая в окно, потом внимательнее. Когда же я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и подал от нее пакет, граф ковшиком с тарелки метнул голубям горсть зерна и, пока те, извиваясь гурьбой, слетались на выступ крыши, встал.

– Твои вести, любезный, таковы, – сказал он, – что о них надо поговорить толком. Сойдем с этой мачты в кают-компанию.

Мы сошли в нижний ярус дома, потом в сад. Граф по пути приоделся и приказал не принимать никого. Мы долго бродили по дорожкам. Отвечая на его вопросы, я вглядывался в выразительные, как бы вдруг затуманенные, глаза графа. Он меня слушал с особым вниманием.

– Ты хитришь, – вдруг сказал он, идя по саду. – Почему утверждаешь, что она самозванка, авантюрьера? Объяснись, – прибавил он, сев на скамью, – с чужого ли голоса ты говоришь, или убедился лично?

Я смешался, не знал, что говорить.

– Сомнителен ее рассказ о прошлом, – проговорил я, – как-то сбивается на сказку… Сибирь, отравление, бегство в Персию, сношения с владетельными

дворами Европы. Как верный слуга государыни, я действовал по совести, всматривался и скажу прямо – не могу утаить сомнений.

– Согласен, – произнес граф, – об этом можно говорить так и сяк. Но вот что важно: в Петербурге о ней уже знают и пишут мне, как о побродяжке, всклепавшей на себя неподходящее имя и род.

Граф помолчал.

– Хороша побродяжка! – прибавил он, как бы про себя, загадочно. – Пусть так, не спорю… Но зачем же решили требовать ее выдачи, а в случае отказа – взять силой, даже бомбардировать рагузскую цитадель? С побродяжкой так не возятся. Такую просто и без огласки поймать… навязать камень на шею да и в воду.

Холод прошел у меня по спине при этих словах графа. Я так и вспомнил приснопамятные, июньские дни…

– То-то, братец, видно, что не побродяжка, – проговорил опять граф, глядя на меня, – ты как об этом думаешь?.. Ну-ка, говори начистоту.

IX

Удивили меня слова графа. Я невольно вспомнил сообщения княжны о падении силы Орловых, об удалении бывшего фаворита в Ревель и о возвышении их врагов. Досада ли, огорчение ли ослепляло графа или в самом деле он искренне поверил в происхождение княжны, только, очевидно, он со мной говорил не на ветер, и в его душе происходила некая нешуточная борьба.

– Простите, ваше сиятельство, мою дерзость, – сказал я, не вытерпев, – но, уж если вы повелеваете, я не утаю. Виденная мною особа действительно очень схожа с покойною императрицею Елисаветой. Кто не знает изображений этой государыни? Тот же величественный очерк белого, нежного лица, те же темные дугой брови, та же статность, а главное – эти глаза. Не могу не привести рассказа моей покойной украинской бабушки о родных Разумовского.

– Да! Ведь ты, Концов, сам батуринец! – живо подхватил граф. – Ну-ка, что же тебе говорила бабка?

Я сообщил о Дарагановке и о жившем там в оны годы таинственном дитяти.

– Так вот откуда эта Таракановка, – сказал граф, – верно, верно! И я некогда что-то слышал о тьмутараканской принцессе.

Он встал со скамьи. Волнение, видимо, охватило его мысли. Заложа руки за спину и понурившись, он медленно опять стал прохаживаться по тропинкам сада. Я почтительно следовал за ним.

– Концов, ты не мальчик! – вдруг сказал Алексей Григорьевич, обратя ко мне свои проницательные, соколиные глаза. – Дело великой, государственной важности. Будь осторожен, и не только в действиях или словах, в самих помыслах. Клянешься ли, что будешь обо всем молчать?

– Клянусь, ваше сиятельство.

– Так слушай же, помни… За все ответишь мне головой.

Граф помедлил и, устремив на меня задумчивый, в самую глубь души глядевший взор, прибавил:

– Не забывай же, меня ты знаешь… головой…

Мы прошли в конец сада, сели на другую, более уединенную скамью.

– Недолго поймать всклепавшую на себя, – сказал граф, – мало ли, всячески можно изловчиться, если приказывают. Да честно ли, слушай, обманом-то, тайком? а? притом с женщиной… ведь жалко было бы? Правда?

– Как не жалко, – ответил я в простоте, – врагов следует побеждать, но открыто… иначе всяк назвал бы предателем, низким душегубцем.

Граф как-то живо при этом мигнул, точно в глазах его что-то пробежало.

– Ну да, милый, уж так-то подло… и мы с тобой не палачи! – произнес он. – А из Петербурга все-таки даром не напишут, и притом, как на нас там смотрят, еще вилами писано по воде… Да что! откровенно тебе скажу: оттуда уже дважды являлись ко мне тайные послы, соблазняя и склоняя против всех вверенных мне дел… Ожидал ли ты этого? Не обидно ли, после всех моих заслуг? а?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Риваль (от фр. rivall) – соперник.

2

Мой ангел (франц.).

3

Великий боже! (итал.)

Купить: https://tellnovel.com/ru/danilevskiy_grigoriy/knyazhna-tarakanova

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить